

1) — Верите вы в будущую жизнь? — спросил он.

— В будущую жизнь? — повторил князь Андрей, но Пьер не дал ему времени ответить и принял это повторение за отрицание, тем более что он знал прежние атеистические убеждения князя Андрея.

— Вы говорите, что не можете видеть царства добра и правды на земле. И я не видал его; и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь как на конец всего. На земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), нет правды — все ложь и зло; но в мире, во всем мире есть царство правды и мы теперь дети земли, а вечно — дети всего мира. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного, гармонического целого? Разве я не чувствую, что я в этом бесчисленном количестве существ, в которых проявляется божество, — высшая сила, — как хотите, — что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим? Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница, которой я не вижу конца внизу, она теряется в растениях. Отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ? Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что, кроме меня, надо мной живут духи и что в этом мире есть правда.

— Да, это учение Гердера, — сказал князь Андрей, — но не то, душа моя, убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться (князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся), и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть... Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа! И я верю, что он есть... Вот что убеждает, вот что убедило меня, — сказал князь Андрей.

— Ну да, ну да, — говорил Пьер, — разве не то же самое и я говорю!

— Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет там в *нигде*, и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И я заглянул...

— Ну, так что ж! Вы знаете, что есть там и что есть *кто-то*? Там есть — будущая жизнь. *Кто-то* есть — Бог.

Князь Андрей не отвечал. Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и заложены и уж солнце скрылось до половины и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, еще стояли на пароме и говорили.

— Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, — говорил Пьер, — что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там, во всем (он указал на небо). — Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома, и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны течения с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: «Правда, верь этому».

Князь Андрей вздохнул и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся восторженное, но все робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.

— Да, коли бы это так было! — сказал он. — Однако пойдем садиться, — прибавил князь Андрей, и, выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз после Аустерлица он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел, лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь.

Бедняга географ, наш отец не испытывал к нему ни малейшего уважения, вот что значит не носить обуви. Правда, к тому времени, когда мы встретились с Норвеговым на платформе, ему, Павлу Петровичу, было, по всей видимости, уже безразлично, уважает его наш отец или не уважает, поскольку к тому времени его, нашего наставника, не существовало, он умер весной такого-то, то есть за два с лишним года до нашей с ним встречи на этой самой платформе. Вот я и говорю, у нас что-то не так со временем, давай разберемся. Он долго болел, у него была тяжелая продолжительная болезнь, и он прекрасно знал, что скоро умрет, но не подавал виду. Он оставался самым веселым, а точнее — единственным веселым человеком в школе, и без конца шутил. Он говорил, что ощущает себя настолько худым, что боится, как бы его не унес какой-нибудь случайный ветер. Врачи, — смеялся Норвегов, — запретили мне подходить к ветряным мельницам ближе, чем на километр, но запретный плод сладок: меня ужасно к ним тянет, они совсем рядом с моим домом, на поlynных холмах, и когда-нибудь я не выдержу. В дачном поселке, где я живу, меня называют ветрогоном и флюгером, но скажите, разве так уж плохо слыть ветрогоном, особенно если ты — географ. Географ даже обязан быть ветрогоном, это его специальность, — как вы считаете, мои молодые друзья? Не поддаваться унынию, — задорно кричал он, размахивая руками, — не так ли, жить на полной велосипедной скорости, загорать и купаться, ловить бабочек и стрекоз, самых разноцветных, особенно тех великолепных траурниц и желтушек, каких так много у меня на даче! Что же еще, — спрашивал учитель, похлопывая себя по карманам, чтобы найти спички, папиросы и закурить, — что же еще? Знайте, други, на свете счастья нет, ничего подобного, ничего похожего, но зато — господи! — есть же в конце концов покой и воля. Современный географ, как впрочем и монтер, и водопроводчик, и генерал, живет всего однажды. Так живите по ветру, молодежь, побольше комплиментов дамам, больше музыки, улыбок, лодочных прогулок, домов отдыха, рыцарских турниров, дуэлей, шахматных матчей, дыхательных упражнений и прочей чепухи. А если вас когда-нибудь назовут ветрогоном, — говорил Норвегов, гремя на всю школу найденным коробком спичек, — не обижайтесь: это не так уж плохо. Ибо чего убоюсь перед лицом вечности, если сегодня ветер шевелит мои волосы, освежает лицо, задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвет пуговицы пиджака, а завтра — ломает ненужные ветхие постройки, вырывает с корнем дубы, возмущает и вздувает водоемы и разносит семена моего сада по всему свету, — убоюсь ли чего я, географ Павел Норвегов, честный загорелый человек из пятой пригородной зоны, скромный, но знающий дело педагог, чья худая, но все еще царственная рука с утра до вечера вращает пустопорожнюю планету, сотворенную из обманного папье-маше! Дайте мне время — я докажу вам, кто из нас прав, я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий, вы разучитесь читать и писать, вам захочется лепетать, подобно августовской осинке. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески, вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя! Безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами! Великой правды захочется вам. И тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и униженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий у вас в жилах вместо крови. Бойтесь Насылающего Ветер, господа городов и дач, страшитесь бризов и сквозняков, они порождают ураганы и смерчи. Это говорю вам я, географ пятой пригородной зоны, человек, вращающий пустотелый картонный шар. И говоря это, я беру в свидетели вечность — не так ли, мои юные помощники, мои милые современники и коллеги, — не так ли?

2) — Николай!.. К пушкину!

Сырая метель набросала пушкину вороха снега на сутулую голову, на согнутую руку, будто лазал он по чужим избам, по чуланам подворовывать, набрал добра сколько нашлось, — а и бедное то добро, непрочное, ветошь одна, — да и вылезит с-под клетки, — тряпье к грудям притиснул, с головы сено трухлявое сыплется, все оно сыплется!..

Что, брат пушкин? И ты, небось, так же? Тоже маялся, томился ночами, тяжело ступал тяжелыми ногами по наскребанным половицам, тоже дума давила?

Тоже запрягал в сани кого порезвей, ездил в тоске, без цели по заснеженным полям, слушал перестук унылых колокольцев, протяжное пение возницы?

Гадал о прошлом, страшился будущего?

Возносился выше столпа? — а пока возносился, пока мнил себя и слабым, и грозным, и жалким, и торжествующим, пока искал, чего мы все ищем, — белую птицу, главную книгу, морскую дорогу, — не заглядывал ли к жене-то твоей навозный Терентий Петрович, втируша, зубоскал, вертун полезный?..

Ты, пушкин, скажи! Как жить? Я же тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул: грудь скрести, сердце слушать: что минуло? что грядет? Был бы ты без меня безглазым обрубком, пустым бревном, безымянным деревом в лесу; шумел бы на ветру по весне, осенью желуди ронял, зимой поскрипывал: никто и не знал бы про тебя! Не будь меня — и тебя бы не было! Кто меня верховной властью из ничтожества воззвал? — Я воззвал! Я!

Это верно, кривоватый ты у меня, и затылок у тебя плоский, и с пальчиками непорядок, и ног нету, — сам вижу, столярное дело понимаю.

Но уж какой есть, терпи, дитятко, — какие мы, таков и ты, а не иначе!

Ты — наше все, а мы — твое, и других нетути! Нетути других-то! Так помогай!

Татьяна Толстая. Кысь (фрагмент романа).



Игорь Макаревич
«Буратино на севере»

3) Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, писатель Мухобойников обнаружил, что он у себя в постели превратился в Надежду Константиновну Крупскую. На его груди появились две гигантские выпуклости, обтянутые несвежей трикотажной майкой... Но неизмеримо ужаснейшая пропасть леденила смертным сквозняком из той части сознания, где поселился фантом мыслящей вдовы коммунистического вождя.

Мухобойников видел комнату, оклеенную желтыми обоями, служившую ему спальней и рабочим кабинетом. Стол, заваленный черновиками незаконченного романа – в Союзе писателей Мухобойников проходил по секции прозы, – занимал свое привычное место у окна. Из кухни слышались звуки и голоса. Дочь и жена о чем-то спорили, поддывала резиновая прокладка в старом кране, в железной мойке клацали ложки. Очевидно, весь мир оставался прежним, а необъяснимым изменениям подверглась только личность самого Мухобойникова.

Чтобы отогнать наваждение, он прибегнул к испытанному способу: закрыл глаза и постарался задремать, чтобы заново очнуться в образе самого себя. За сорок семь лет более-менее творческой деятельности он успел привыкнуть к своему естеству. Конечно, он бы не отказался, подобно Фаусту, променять себя нынешнего на кипящую страстями и подверженную соблазнам обновленную версию. В целях писательского эксперимента мог рассмотреть и возможность обмена телами с рыжеволосой вакханкой в тесной суконной юбке, в очках и в упругом бюстгальтере модели «Анжелика» – этот тип женщин до сих пор казался ему притягательным. Но очутиться в облике базедовой старухи со спутанным революционным сознанием – это было слишком даже для производителя фантастики, что уж говорить о Мухобойникове, имевшем негромкую славу психолога и вдумчивого описателя внутренней жизни.

Он и в самом деле задремал, проснулся же от мысли, что сказки Чуковского архивредны для детей и подлежат запрету. Перебирая список дел на утро, он напомнил себе записать несколько важных пунктов о недостатках педагогической системы Антона Макаренко для журнала «Красная новь», и на лбу его выступил холодный пот.

Ощупывая свое тело тонкими и слабыми руками, Мухобойников наткнулся на складки жира, внезапные провалы и утолщения в самых неожиданных местах. Это не было сном. Надежда Крупская с удобством разместилась в его теле с явным намерением потеснить, а то и выкинуть хозяина вон.

В комнату кто-то вошел, спертый воздух спальни наполнился кухонными запахами. Мухобойников скорчился под одеялом, обеими руками обнимая тестообразные груди. Прошелестели шаги. Со скрипом отворилась дверца шкафа. Дочь тихо выругалась, вытягивая из кома одежды какой-то необходимый ей предмет.

(...) «И все же нужно вставать, – подумал Мухобойников. – Нужно работать. Утро – на разгром ошибочных теорий Макаренко. После обеда – выступление в коммуне ВСЕКОХУДОЖНИКА. Нужно ехать. Посмотреть, чем живет новая молодежь».

О.Погодина-Кузмина, «Гибель Надежды»

Воротясь домой, Целиковский вытащил из почтового ящика, приколоченного к калитке, письмо от ведуньи Маёвкиной, удивился и засел с ним в любимом своем углу.

«Вот пишу вам письмо, — разбирал он сквозь стекла очков с большими диоптриями, — куда уж дальше, что уж тут скажешь, кроме того, что теперь вы меня можете презирать. Но, если вам меня хоть капельку жалко, прочитайте, пожалуйста, до конца.

Сначала я хотела молчать, и вы никогда бы не узнали моего стыда, если бы у меня была возможность видеть вас хоть через день.

И зачем только вас нелегкая принесла к нам на Татарки? Так бы я жила себе поживала, не зная сердечной муки. Но уж, зная, на то не наша воля, от судьбы не уйдешь, недаром вы мне снились еще до того, как пришли ко мне за советом. А как вы вошли в дом, так я вас сразу узнала, что вы мой суженый, и прямо вся вспыхнула от любви. Но только что из всего этого получится, счастье или грех, уж вы, пожалуйста, разрешите мои сомнения. Может быть, все пустое.

Только знайте, что с того самого дня вы моя единственная надежда и отрада, родственник человек, и, кроме вас, меня не поймет в городе ни одна живая душа. Короче говоря: да или нет?

Ну вот и все. Даже перечитать страшно. Стыдоба, конечно, только и надежды, что вы сознательный человек».

Валентин Эрастович сложил письмо вчетверо, спрятал его в ящик тумбочки и подумал, что, видимо, это Маёвкина лечит свой застарелый гастрит или у нее такая хитрая терапия против отмирания всех частей. Впрочем, было не исключено, что это серьезно, что у Маёвкиной в самом деле возникло чувство, которое требовало ясности отношений; с одной стороны, лестно было, что при сонме болезней, при самой невзрачной внешности да в его-то годы он сумел ненароком влюбить в себя приятную женщину, но, с другой стороны, это выходила новая тягота, требующая определенного, а главное, совершенно излишнего напряжения разума и души.

...Все-таки сильно было не по себе оттого, что предстояло расхлебывать внезапный роман с ведуньей. Валентин Эрастович тяжело вздохнул, вытащил из ящика тумбочки перо, чернильницу, ученическую тетрадь и начал писать ответ:

«Прочитал ваше письмо. Мне понравилась ваша доверчивость, искренность, а чувство, которое возникло у вас по отношению к моей скромной особе, взволновало меня до крайности. Но, посудите сами: я человек в годах, занятый делом и вообще не созданный для счастья. Поэтому я недостоин вашей любви и ваша

приятная внешность не про меня...»
углу»

Вячеслав Пьецух, «Человек в